



РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК  
LANGUAGE AND REASONING

М. А. КОТИН

# ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Очерк теории  
языковых изменений

СЕГО ДНЯ НЕСТЬ ДЕСКАТЬ  
ЗАУТРА МОЛВИТЬ  
БЫТЬ ХОТЕТЬ  
ВЕДАТЬ  
БУДЬ ТО  
БУДТО  
ДЕ БЫ  
МОЛ НЕТ ВЕДЬ ЗАВТРА ХОТЯ СЕГОДНЯ

Разумное поведение и язык. Language and Reasoning

Михаил Котин

**Язык и время**

«Языки Славянской Культуры»

2018

УДК 80/81  
ББК 81

**Котин М. Л.**

Язык и время / М. Л. Котин — «Языки Славянской Культуры»,  
2018 — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning)

Целью монографии является введение в проблематику развития естественных языков и языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Выводы автора являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Книга адресована широкому кругу читателей, заинтересованных данными вопросами, — в первую очередь филологам и лингвистам.

УДК 80/81

ББК 81

© Котин М. Л., 2018

© Языки Славянской Культуры, 2018

# Содержание

Введение	6
Что такое язык?	9
Что такое время?	18
Имеет ли право на существование вопрос о происхождении естественных языков?	23
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**М. Л. Котин**  
**Язык и время**

*Жене Татьяне и сыну Андрею – с любовью и благодарностью*

## Введение

Естественные языки, которых на Земле в настоящее время насчитывается более 7500<sup>1</sup>, возникают, развиваются и заканчивают своё существование согласно определённым законам. Законы эти в значительной своей части универсальны, то есть действуют независимо от того, о каком конкретном языке идёт речь. Есть, конечно, и специфические механизмы развития конкретных языков, но нас в этой книге они будут интересовать в меньшей степени. Наиболее интересным представляется изучение общей судьбы человеческого языка, от его зарождения до нынешнего состояния, а в отношении так называемых мёртвых языков – до их «смерти». Лингвистика – весьма ещё молодая область человеческих знаний, возникшая как самостоятельная наука на рубеже XVIII–XIX веков. Однако в силу того, что её развитие совпало с гигантскими достижениями последних двух столетий в области других наук, в разной степени ускорившими процессы познания в глобальных масштабах, она проделала под этим общим влиянием весьма внушительный как с точки зрения формирования теоретико-методологической базы, так и в плане эмпирических исследований путь. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, языковедение испытало благотворное влияние как естественных, так и гуманитарных наук при формировании своего научного профиля. С другой стороны, оно нередко под влиянием теории и методологии этих наук как бы «забывало» о том, что использовать эти методы можно лишь при условии понимания специфики собственного предмета изучения, а следовательно, они всегда нуждаются в адаптации к объекту исследования – естественному человеческому языку, а подчас оказываются для данных целей и вовсе не пригодными.

Язык – единственный объект научного знания, который одновременно является инструментом собственного описания. Мы говорим и пишем о языке, используя язык. То, что при этом мы можем пользоваться, скажем, русским языком для описания языка немецкого или любого другого, мало что меняет, поскольку область пересечения здесь гораздо более тесная, чем, например, при описании химического вещества или физических законов при помощи буквенно-цифровых знаковых систем. Понятие *метаязыка* в языкознании отличается поэтому от знаковых метасистем, используемых в других науках, и создание адекватной лингвистической терминологии всегда будет сталкиваться с серьёзными проблемами. О многих феноменах языка лингвисты по сей день говорят лишь «приблизительно», метафорически, хотя они не оставляют попыток как-то упорядочить используемый ими терминологический аппарат. В результате представители разных лингвистических школ и направлений зачастую не понимают друг друга, говоря на первый взгляд о «том же самом». Помимо этого, наше сознание, вырабатывая тот или иной понятийный аппарат для целей научного исследования, не может пользоваться им в отрыве от той материальной оболочки, которую имеет слово как языковой знак. Мы можем сколько угодно говорить об отличии слов от понятий или, согласно современной терминологии, концептов или фреймов, о наличии некоего «энциклопедического знания», отличного от знания «идеографического» (словарного), однако нет никаких универсальных способов регистрации и фиксации энциклопедического, концептуального или понятийного знания, отличного от знания, связанного с языковым знаком.

Язык – исторический феномен, что означает прежде всего его существование во времени. Время же всегда предполагает изменение, развитие, исчезновение одних форм и появление других или изменение значения или функции той или иной формы при её сохранении

---

<sup>1</sup> Приводимые в разных источниках данные существенно разнятся, поскольку зависят от применяемых критериев и алгоритмов подсчёта, в частности, от того, что считается языком, а что – диалектом, региональным вариантом языка, говором, койне и т. п. Число 7500 (которое является очень приблизительным) – скорее максимальное, чем минимальное или среднее.

как материального носителя старого и нового значения, старой и новой функции. Всё, что подвластно времени, по необходимости должно изменяться, и это правило настолько непреложно, что само время мы воспринимаем не иначе как через призму изменения наблюдаемых нами объектов. Бытийными рамками этого изменения являются возникновение и исчезновение чего-либо или кого-либо. Так и всякий язык когда-то возникает, живёт, пока живут его носители, и исчезает вместе с их исчезновением – бесследно, если он существовал лишь в устной форме, или сохранившись лишь в виде текстов, если он имел также письменную историю и если эти тексты не пропали. Понятно, что в последнем случае язык сохраняется не целиком, а лишь может быть восстановлен фрагментарно. Но если на земле живёт хотя бы один-единственный взрослый носитель какого-то языка, можно считать, что вне зависимости от объёма его словарного запаса данный язык является живым и представлен во всей своей полноте.

Логика времени, которая, в общем, не требует от нас ответа на вопрос, почему изменяются естественные языки, ортогональна, однако, логике существования знаковых систем, а ведь язык помимо своей исторической сущности является ещё и системой знаков. Знаковые же системы вовсе не предполагают неотвратимости изменений, им вполне может быть присуща стабильность и неизменность. Изменения здесь скорее требуют объяснений, чем принимаются по умолчанию. Собственно, любая оптимальная система знаков может существовать в неизменном виде сколь угодно долго. При этом, если изменения в ней всё же происходят, они всегда могут быть объяснены конкретными целями или обстоятельствами. Скажем, усложнение сигналов светофора путём добавления жёлтого света к зелёному и красному, было обусловлено увеличением скорости движения автотранспорта, в результате чего возникла необходимость заранее подготовиться к торможению, а также увеличением числа механизированных участников движения, приведшим к затруднениям при ориентации водителей на дороге. Подобным образом увеличение числа дорожных знаков вызвано нарастающим усложнением участников и условий движения. При сохранении стабильности в данной сфере система дорожных знаков может теоретически не меняться столетиями. Азбука Морзе также не требует изменений, не вызванных внешними и не зависящими от самой системы явлениями. То же можно сказать о системах знаков, применяемых в математике, физике, химии и ряде других наук.

Система языковых знаков подчинена совершенно иным механизмам. На первый взгляд можно объяснить происходящие в ней изменения внешними причинами: появлением новых предметов и понятий, требующих новых обозначений; воздействием других языков (языковыми контактами) и т. п. Однако достаточно задаться вопросом, сохранился ли бы язык в неизменном виде, если бы все внешние факторы, обуславливающие его развитие, отпали, чтобы понять, что естественные языки кардинально разнятся от прочих знаковых систем. Представим себе отделённый океаном от прочих обитаемых территорий остров, на котором проживает некое племя *инси*, говорящее на *инсийском* языке. Племя это живёт много столетий подряд без видимых изменений в своём жизненном укладе, технического прогресса, а также не контактирует ни с каким другим народом в силу его отсутствия. Природные условия благоприятствуют стабильному существованию данного племени, которое со временем численно растёт и распространяется по всему острову. Можно ли вообразить, что, скажем, в течение трёх или четырёх сотен лет язык данного племени останется неизменным? Очевидно, что нельзя. Что же станет в этом случае причиной развития языка, если отпадают все те причины языковых изменений, которые обычно называются в лингвистике? Несомненно, это будет просто наличие фактора времени. Со временем меняются языковые формы, как со временем меняется, скажем, организм живых существ.

Понятно, что сравнение языка как системы знаков с живыми организмами сегодня весьма рискованно. Классики сравнительно-исторического метода в языкознании Якоб Гримм и Август Шлейхер, а вслед за ними их последователи, принадлежавшие к так называемой младограмматической школе (Германн Пауль, Карл Бругманн, Вильгельм Брауне и многие

другие), не представляли себе иной модели языка, кроме органической, и для них подобное сравнение было поэтому естественным. Однако современная лингвистика далеко ушла от их представлений и в качестве модели существования и развития языков использует метафоры, заимствованные не из биологии, но скорее из тех областей знания, которые не связаны с естественными эволюционными процессами, – логики, социологии, семиотики и т. п. (об исключениях из этой магистральной линии развития лингвистики речь пойдёт ниже). При таком подходе вполне понятно, что время как жёсткая составляющая конструкции, именуемой языковой системой, отходит как минимум на задний план, если вовсе не выводится за рамки метода – что, в частности, предложил сделать Фердинанд де Соссюр, прочертив резкую методологическую границу между синхроническим (то есть статическим, а потому вневременным) и диахроническим (зависящим от фактора времени) подходом. Его более радикальные последователи (например, Шарль Балли) превратили данную методологическую черту по сути в онтологическую, объявив уже сам язык в его определённом статическом состоянии предметом абсолютно самостоятельного научного интереса. После такого переворота язык, казалось бы, уже не может изучаться в парадигме, предусматривающей его сравнение с живым организмом. Вместе с тем вопрос о доминантности времени при описании языка никуда не исчез. Учитывая при этом именно детерминистическую постановку данного вопроса, необходимо по меньшей мере частично вернуться к проблеме внутренних, системно обусловленных причин и механизмов языковых изменений, что, в свою очередь, неизбежно предполагает выведение языка за рамки прочих семиотических систем.

В этой книге чрезвычайно сложные вопросы исторической природы языка, его генеалогии, первичных и вторичных факторов развития, соотношения «внутренних» и «внешних» причин, обуславливающих и ускоряющих или, наоборот, ослабляющих и задерживающих это развитие, будут изложены с максимальной доступностью. Не перегружая текст сложной и подчас неоднозначной и не повсюду принятой терминологией, а, с другой стороны, не стремясь к доступности в ущерб научной обоснованности, что свойственно научно-популярным работам, автор пытается представить актуальные проблемы теории языковых изменений на разных уровнях языковой системы. Такой подход должен максимально расширить круг заинтересованных данными проблемами читателей, ядром которого тем не менее должны являться филологи и лингвисты. Вместе с тем книга не является классическим научным трудом, содержащим большой объём эмпирического материала, исследуемого на основе систематизированного и аннотированного корпуса текстов. Это скорее пособие, целью которого является введение в проблематику языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Тезисы автора, в свою очередь, являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Данные исследования в отличие от предлагаемой монографии проводились на обширном языковом материале, который, учитывая специфику настоящей книги, может быть здесь представлен лишь фрагментарно, в качестве иллюстрации. То же самое может быть сказано и о ссылках на научные источники, число которых ограничено до необходимого минимума.

## Что такое язык?

Ответ на этот вопрос крайне сложен, что связано с тем, о чём отчасти речь уже шла во Введении. Используя в качестве метаязыка при описании естественных человеческих языков всё тот же естественный язык, мы попадаем в некоторый замкнутый круг. Что такое то, на чём я сейчас говорю? Ожидаемый ответ здесь – русский язык. Я сейчас говорю (или в данном случае пишу) по-русски. Каким образом это возможно? Где этот язык можно найти и как он выглядит? Есть словари русского языка, в которых более или менее подробно представлен его лексический состав. Есть учебники грамматики, описывающие правила, по которым слова из словаря могут соединяться в фразы. Можно описать звуковой состав языка, его гласные и согласные звуки, слоги, интонацию, ударение и прочие элементы и правила их соединения друг с другом. При этом совершенно очевидно, что ни одно из описаний не является полным и исчерпывающим, что оно не адекватно описываемому феномену. Язык, который я использую, живёт в моём сознании, является одной из составляющих тех знаний, которыми я обладаю. При построении фраз я извлекаю из определённых участков мозга содержащиеся там в идеальном виде языковые формы, материализую их посредством речевого аппарата (гортани, нёба, языка, зубов, губ, голосовых связок) и соединяю их в осмысленные предложения путём применения правил, которые можно назвать, вслед за Ноамом Хомским, «competence». При этом происходит превращение competence в performance, или идеального «внутреннего языка», I(nternalized) language, в реальный, материальный «внешний язык», E(xternalized) language (ср. Chomsky 1986). Потенциальный язык, живущий в недрах головного мозга, организован в виде некоего интерфейса, позволяющего генерировать фразы из словесного материала, причём последний накапливается в результате обучения, тогда как «глубинный» синтаксис, согласно Хомскому, дан человеку *a priori*, от рождения, как абстрактная возможность соединять именные и глагольные фразы. В реальной жизни мы слышим и видим только результаты внутренней речевой деятельности, однако на их основе можем делать выводы о лежащих в её основе логических схемах, подобно тому, как Мендель открыл гены, исследуя белые и жёлтые цветы, или как химик, видя воду, говорит о её химической формуле H<sub>2</sub>O (ср. von Stechow 1993: 7).

Итак, местом обитания языка является головной мозг человека (ср. von Stechow 1993: 7), где язык существует как *идиолект* (ср. Grucza 1997: 11). Ещё А. И. Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay 1922: 3) писал о польском языке следующее (очевидно, что его высказывание может быть без ограничений применено к любому живому языку)<sup>2</sup>:

У нас есть столько индивидуальных, то есть личных, польских языков, сколько есть голов, вмещающих в себе польское языковое мышление. «Языковые поляки», то есть носители и выразители польского языкового мышления, постоянно рождаются и постоянно умирают, а значит, и состав польского языкового сообщества постоянно меняется. Как во всех прочих сферах жизни – жизни в самом широком смысле этого слова, – так и здесь верно высказывание Гераклита Πάντα ῥεῖ (всё течёт, всё находится в постоянном движении) (перевод с польского мой. – М. К.).

Подобным образом язык как индивидуальное свойство человеческого мышления, а следовательно, как индивидуальный язык, понимал С. Шобер (ср. Szober 1913: 4).

---

<sup>2</sup> «Mamy tyle języków polskich indywidualnych, czyli jednostkowych, ile jest głów, mieszczących w sobie polskie myślenie językowe. Polacy językowi, t.j. nosiciele i uzewnętrznicze polskiego myślenia językowego, ciągle się rodzą i ciągle giną. Więc też skład społeczności czyli zbiorowiska językowego polskiego ciągle się zmienia. Jak we wszystkich innych dziedzinach życia, życia w najrozciąglejszym znaczeniu tego słowa, tak i tu stosuje się powiedzenie Heraklita: Πάντα ῥεῖ (wszystko płynie, wszystko jest w bezustannym ruchu)».

Однако идиолектный, индивидуальный характер языка, его привязанность к языковой компетенции отдельно взятого носителя по определению выводит его за рамки социально обусловленного феномена, локализуемого, согласно классическому структурализму Фердинанда де Соссюра (Saussure 1916), не в мозгу носителя, а на некоторой «нейтральной» территории, расположенной одновременно внутри и вне индивидуума, в некоем общем знаковом пространстве, являющемся достоянием сообщества говорящих на данном языке. Фиксация понимаемого так языка возможна благодаря дихотомии, которую Соссюр определял как оппозицию *langue* и *parole* (то есть языка как абстрактной системы знаков и как её реализации в процессе общения). Иными словами, можно говорить о языке как системе знаков, расположенной в пространстве социума, каждый из членов которого в той или иной степени владеет данной системой. Однако данная дихотомия (кстати, единственная из дихотомий, предлагаемых Соссюром) получает в его модели общий интеграл, который он называет *langage*. Это понятие переводится лингвистами по-разному. Так, А. А. Холодович предлагает понимать его как «речевую деятельность» (ср. Холодович 1977: 18), в то время как большинство других языковедов говорят здесь скорее о «языковой способности». По-видимому, соссюрская *langage* в значительной степени согласуется с *competence* Хомского, являясь модулем, претворяющим языковую систему в речь. Данный модуль в силу необходимости должен носить индивидуальный характер, но быть общим для всех носителей одного языка, чтобы обеспечить простое понимание между ними. Определение языка как идиолекта является поэтому правильным, но недостаточным. Понятно, что язык объективируется через общение между его носителями, в результате чего создаются тексты на данном языке, понимаемые хотя бы на самом поверхностном уровне всеми носителями данного языка. При этом, согласно гениальному определению Вильгельма фон Гумбольдта (ср. Humboldt 1903–1936 (5): 9, Trabant 2003: 27), мир естественного языка, используемого народом, на нём говорящим, объективен по сравнению с миром индивидуума, поскольку присущ множеству индивидуумов, и в то же самое время субъективен по сравнению с миром языка предыдущих и последующих поколений (то есть в историческом плане) и по сравнению с совокупностью «языковых миров» современной ему эпохи (то есть в плане географическом). Иными словами, язык данного народа понимается Гумбольдтом как форма его (народа) субъективного мировосприятия (*Weltansicht*), объединяющего всех носителей этого языка и отличающего их от носителей прочих языков. Язык народов Гумбольдт называет «внешним выражением их духа» (*äußerliche Erscheinung ihres Geistes*) (Humboldt 1836/1949: 41). Важно при этом, что никакой другой формы субъективации мира для целого народа, кроме языка, согласно Гумбольдту, не существует, в силу чего язык является единственным носителем народного духа (*Volksgeist*): «Их [народов. – М. К.] язык – это их дух, а их дух – их язык, оба нельзя представлять себе иначе как совершенно идентичными друг другу»<sup>3</sup>. Поскольку язык содержит вполне определённые, эмпирически устанавливаемые, «измеримые» материальные формы своего существования, народный дух в таком его восприятии теряет свою эфемерность и получает вполне научное осмысление. К сожалению, попытки интерпретации учения Гумбольдта о языке, как апологетического, так и критического свойства, зачастую игнорируют данный аспект, в силу чего Гумбольдт до сего дня многими воспринимается как романтик и «певец народного духа», тогда как он выступает здесь, независимо от специфической для своего времени терминологии, как строгий учёный. Субъективен в его системе именно мир, точнее, его осмысление народом через язык, объективен – сам язык как система форм, выражающих мирозерцание народа. С другой стороны, «оязыковлённый мир» (*die versprachlichte Welt*) принадлежит народу, говорящему на данном языке, как феномен, объективируемый посредством языка, объединяющего множество индивидуумов, каждый из которых имеет свою субъективную картину мира.

<sup>3</sup> «Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache, man kann sich beide nicht identisch genug denken».

Таким образом, применяя центральные положения теории языка Гумбольдта к современной антропоцентрической концепции языка как идиолекта, а с другой стороны, к теориям сосюрковского и постсосюрковского структурализма, мы получаем следующую картину. Язык как «лингвомодуль», локализованный в мозге его отдельного носителя, через речевую деятельность, направленную вовне и осуществляемую посредством речевого аппарата (в активных фазах) и воспринимаемую извне, т. е. от других носителей, посредством слухового восприятия (в пассивных фазах), является *универсальным для данного языкового сообщества кодом объективного мировосприятия индивидуума и субъективного мировосприятия языкового сообщества*. То есть индивидуум «объективирует» свою собственную картину мира через её постоянное соотнесение с картинами мира иных индивидуумов в процессе коммуникации, в результате чего вырабатывается и фиксируется в текстах определённый «семиотический интеграл», а, с другой стороны, поскольку таких интегралов (языков) имеется множество, каждый из них представляет собой субъективный код мировосприятия данного языкового сообщества (народа).

Такой подход к языку требует его фиксации, локализации в определённом виртуальном пространстве, находящемся одновременно внутри говорящих и вне их. Соссюр и его последователи в качестве решения предлагают социологически обусловленную модель, в которой пространство языка как системы знаков отчуждается от говорящих и размещается исключительно на некоем межличностном, абстрактно-системном уровне. Якоб Гримм и Август Шлейхер проводят ещё более радикальное отчуждение языка от его носителей, определяя язык как независимый от говорящих организм, подобный живым организмам и изучаемый в отрыве от человека. Шлейхер (ср. Schleicher 1863: 6–7) говорит о языках как естественных организмах, возникающих независимо от воли человека, растущих и развивающихся согласно их собственным законам, а затем, согласно законам природы, стареющих и умирающих. Языкознание он называет *глоттохронологией* и определяет его как естественную науку, подобную эволюционной биологии Дарвина. Критики такого подхода, во многом сохранившегося вплоть до начала XX в., говорят о неправомерном переносе теории эволюции с живых организмов на явление, кардинально от них отличное и являющееся именно продуктом человеческой деятельности, – язык как знаковую систему. Впоследствии мы вернёмся к данному вопросу, но уже сейчас хотелось бы обратить внимание на явный парадокс: казалось бы, методологически абсолютно неверное определение языка приводит к установлению целого ряда закономерностей его развития, которые в большинстве своём справедливы и сегодня. При этом весьма сомнительно, что иной подход дал бы столь выдающиеся результаты, начиная от установления родства языков и кончая открытиями в сфере их онтологии, генеалогии, а позднее и типологии. Собственно, именно этому подходу лингвистика обязана своим вычлениением из других областей знания и становлением в качестве самостоятельной научной дисциплины.

Вместе с тем и классическая концепция языка Гримма – Шлейхера, выдвинувшая, между прочим, на первый (строго говоря, единственный) план его историко-генеалогическое рассмотрение, и структуралистские течения, восходящие к Соссюру и его последователям, поменявшие перспективу с исторической на синхронную, оставляют вопрос о локализации языка как организма или как системы знаков открытым. Компромиссное решение предложено было Хомским (ср. Chomsky 1965: 3), который вводит понятие «идеального носителя родного языка» (*ideal native speaker-listener*)<sup>4</sup>:

Лингвистическая теория предполагает идеального говорящего-слушающего в абсолютно однородном языковом сообществе, который в

<sup>4</sup> «Linguistic theory is concerned with an ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance».

совершенстве владеет языком и не зависит от таких несущественных с точки зрения грамматики условий, как ограничения в объёме памяти, рассеянность внимания и концентрации и ошибки (случайные или характерные) при использовании своих языковых знаний в актуальном языковом общении (перевод с английского мой. – М. К.).

Это, безусловно, абстрактная и виртуальная величина, как, например, идеальный газ в химии. В реальности никакого идеального носителя языка быть не может, но в теории подобные конструкторы необходимы для того, чтобы, описывая их, можно было приписать им некие общие качества, объединяющие «неидеальные», реальные объекты, отсекая всё «вторичное», индивидуально обусловленное. Так, идеальный газ обладает всеми структурными свойствами каждого реального газа, за исключением тех, что отличают реальные газы друг от друга. Характерно, что Хомский вполне обоснованно говорит не об идеальном *языке*, но об идеальном *носителе* реального, конкретного языка, помещая, таким образом, конкретный язык в некий абстрактный, идеально устроенный и лишённый возможностей перформативных (системно-языковых) ошибок и отклонений человеческий мозг. Такая локализация языка отвечает как идиолектальному (антропологическому), так и системно-социологическому подходу. Но, самое главное, она не противоречит органическому рассмотрению языка как самостоятельного организма, при этом показывая, где именно такой язык может быть локализован и как именно он может быть зафиксирован. Тем самым преодолевается разрыв между языком и его носителями, с одной стороны, и устраняется зависимость языка от конкретных носителей – с другой. Чего данное понятие, однако, не включает – это историко-генеалогического измерения, то есть естественной истории естественных языков. Иначе пришлось бы допустить, что идеальный носитель языка рождается с возникновением языка и живёт вплоть до его смерти. В реальности происходит смена поколений носителей языка, с которой меняется и сам язык. Можно было бы, конечно, ввести понятие идеального носителя данного синхронного среза языка. Но поскольку языковые изменения происходят с разной скоростью и охватывают разное число сменяющихся поколений, данная конструкция была бы едва ли возможной для теории языка, учитывающей его историческое измерение.

Все названные проблемы вполне тривиальны, если принять во внимание, что человеческий язык, подобно живым организмам, имеет свой онтогенез и свой филогенез, которые в целом ряде аспектов обнаруживают точки пересечения. Действительно, процесс освоения родного языка ребёнком вполне может служить моделью развития языка от его зарождения до нынешнего времени. Преувеличивать значение такого моделирования, как это делает, в частности, Д. Лайтфут (Lightfoot 1991; 1999), впрочем, тоже не следует. Руководствуясь теорией принципов и параметров, являющейся одной из составляющих генеративной лингвистики Хомского в её сравнительно позднем варианте (ср. Chomsky/Lasnik 1993, Chomsky 1995), он предлагает изгнать «музу Клио» из теории языковых изменений, ограничившись исследованием того, как ребёнок, изучающий родной язык, постепенно приобретает навыки речевой деятельности, а допускаемые им ошибки, вытекающие из стремления, в частности, упростить и выровнять по принципу аналогии и экономии сложные маркированные языковые формы, рассматривать в плане сценария оптимизации языка в ходе его развития. Обращая результаты таких наблюдений в прошлое, Лайтфут считает возможным объяснить и те изменения, которые в языке уже произошли, – именно как превращение ошибок сегодняшнего дня в нормы дня завтрашнего.

В действительности соотношение онто- и филогенеза в языке отнюдь не столь линейно и однозначно, хотя отрицать его было бы неверно. Ниже будут показаны области пересечения обеих форм языкового генезиса на конкретных примерах. Здесь же ограничимся пока фиксацией того, что язык как объект научного интереса обнаруживает явные признаки естественных, органических объектов (как онто- так и филогенез), в силу чего его инструментализация

и рассмотрение в качестве сотворённого людьми средства общения вряд ли оправданы. Дело в том, что, как справедливо подчёркивает Элизабет Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), инструменталистский подход к языку является одним из главных препятствий для его адекватного, в том числе исторически ориентированного описания, поскольку инструменты отличаются тем, что нас, как правило, мало интересует история их возникновения и развития. Этим инструменты разнятся от природных явлений и естественных организмов. Язык, безусловно, имеет черты и тех, и других, о чём пойдёт речь в последующих главах. Поэтому его адекватное описание предполагает выработку такой модели, которая будет совмещать в себе методологию исследования природных феноменов и артефактов.

Генеративная лингвистика Хомского в её ранней версии, то есть генеративистика «Синтаксических структур» (ср. Chomsky 1957) и «Аспектов теории синтаксиса» (ср. Chomsky 1965), проводит в структуре языка резкую, принципиальную границу между «словарём» как приобретённым, обусловленным рядом внеязыковых факторов языковым знанием *a posteriori*, и собственно лингвистическим, внутренним, прирождённым знанием *a priori*, существующим у каждого человека в виде логической мыслительной структуры, связывающей именную и глагольную фразы без их конкретного лексического наполнения, что составляет основу синтаксиса и вообще любого типа грамматической категоризации. Именно благодаря второй, априорной, грамматической компоненте лингвистического знания, обуславливающей языковую компетенцию, каждый человек в состоянии выучить по крайней мере один язык. Таким образом, структурно язык, локализуемый в виртуальном мозге виртуального «идеального говорящего» и являющийся именно в этом его виде объектом лингвистической теории, состоит из переменной величины – словаря (лексикона) и постоянной величины – логического синтаксического модуля, который в самом общем виде выглядит как NP – VP (noun phrase / именная фраза – verbal phrase / глагольная фраза). Посредством расширения и усложнения синтаксического модуля возникают *правила*, согласно которым в каждом конкретном языке слова соединяются во фразы, и ограниченный (хотя и весьма большой) набор слов служит основой для порождения гипотетически практически неограниченного числа предложений. *Правилами* называются при этом исключительно системно обусловленные законы порождения фраз, а не правила в значении принятых норм, обусловленных социально и подверженных произвольно вводимым извне изменениям. Укрытые синтаксические модули именуются «глубинными структурами» (depth structures), реализуемыми посредством создания «поверхностных структур» (surface structures), то есть реальных (озвученных) фраз. При этом установить форму глубинной структуры невозможно иначе, как возводя к ней структуру поверхностную, «сокращённую» благодаря логическим процедурам до логической схемы. Объектом лингвистической теории Хомский и его последователи объявили именно поиск глубинных структур, стоящих за структурами поверхностными, как гены стоят за белыми и жёлтыми цветками или молекулярная формула H<sub>2</sub>O – за водой. Однако в отличие от генетики или химии экспериментально зарегистрировать глубинную структуру языка невозможно, вследствие чего приходится довольствоваться материалом поверхностных структур, чтобы вывести из них лежащие в их основе синтаксические схемы логического порядка. Все прочие аспекты, которые рассматривались в языковедении до Хомского, включая теорию номинации и вообще вопросы, относящиеся к значению языковых знаков, генеративная теория объявляет «донаучными» (pre-theoretical), поскольку объектом научного знания, получаемого путём построения теории, основанной на научной гипотезе и её эмпирическом доказательстве, по мысли Хомского и его последователей, могут быть исключительно феномены, осмысляемые с точки зрения законов, родственных законам естественных наук или законам логических построений. Дескриптивная (описательная) сторона лингвистики не может, согласно теории генеративной грамматики, быть самостоятельным объектом научного исследования и выполняет поэтому лишь вспомогательную задачу

при построении лингвистической теории, целью которой, как целью всякой теории вообще, является не *описание* феномена, но его *объяснение*.

Ниже будет показано, что такой подход, несмотря на верность постановки общей задачи теории языкознания, неправомерно сужает сферу применения теоретических постулатов до логически устанавливаемых «порождающих схем». Простым доказательством неоправданности такого теоретического редукционизма является, в частности, наличие скрытых, подобно глубинным синтаксическим структурам, механизмов категоризации и правил номинации при возникновении и развитии языковых знаков на уровне словаря, в частности правил мотивации, демотивации и ремотивации, а также грамматикализации в результате так называемого реанализа (англ. *re-analysis*) – по своей сути метонимической процедуры, универсальной для всех языков (ср. Lehmann 1985; 2000, Hopper/Traugott 1993, Heine 1993, Heine/Kuteva 2002, Bybee 1985, Diewald 1997 и др.). Характерно, что эти механизмы в отличие от логических порождающих правил синтаксиса выходят за рамки синхронического исследования языка, и их установление возможно исключительно в исторической (диахронической) перспективе. К сожалению, для постсосюрской структуралистически ориентированной лингвистики сама постановка вопроса о том, что хотя бы какая-то часть языка не поддаётся теоретическому осмыслению исключительно на синхронном уровне, является почти «еретической» в отношении существующей «синхронической догмы». Исторический аспект языка, согласно этому представлению, является объектом самостоятельного изучения, которое методологически и теоретически не пересекается с исследованием языка как системы знаков на данном «синхронном срезе». В «Курсе общей лингвистики», изданном учениками де Сосюра Балли и Сешэ на основе прослушанных ими лекций учёного в Женевском университете, когда самого Сосюра уже не было в живых, имеется очень короткая, но весьма характерная глава под названием «Возможна ли панхроническая точка зрения?», где поставленный в её заголовке вопрос получает однозначно отрицательный ответ. Невозможно, согласно этой логике, никакое совмещение синхронического и диахронического метода при изучении конкретных языковых феноменов, каждый из которых может исследоваться только *либо* синхронически, *либо* диахронически. Никакого интегрального решения данная дихотомия не предусматривает в отличие от описанной выше дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*), интегрированных в понятие языковой способности (*langage*).

Аргументированной и всесторонней критике данная дихотомия, вернее, её абсолютизация, подверглась в замечательном труде румынского лингвиста Эугенио Косериу «Синхрония, диахрония и история» (ср. Coseriu 1958), где вводится категориальный (понятийный) интеграл, вполне соотносимый с *langage* в рассмотренной выше дихотомии иного уровня. Этим интегралом является понятие «история», которое в применении к языку совершенно справедливо считается центральным. История для языка, согласно Косериу, представляет собой интегральную, сущностную его характеристику. Язык – прежде всего исторический феномен, причём исторический фактор его бытования присущ как синхроническому, так и диахроническому измерению лингвистики. Это можно сравнить с человеческим организмом, изучаемым медиками и физиологами, каждый этап жизни которого является результатом прожитого до этого этапа времени. «Синхронное» состояние организма человека необходимо соотнести с этиологией, так как без этого оценить его в полной мере невозможно. Одновременно такая оценка позволяет не только верно поставить диагноз, но и с большей или меньшей степенью вероятности прогнозировать будущее развитие. Косериу определяет человеческий язык как накапливаемое индивидуумами и языковым сообществом в целом *знание*. При этом средством накопления лингвистического знания является коммуникация на данном языке. Фактор времени определяет историчность языка безотносительно к причинам тех или иных конкретных изменений, которые происходят в его звуковом составе, словоформах, лексических значениях и грамматических функциях языковых единиц и синтаксических конструкций, порядке слов в

предложении и т. д. Время, в котором живёт язык, вернее, в котором живут, сменяя друг друга, поколения его носителей, является абсолютным фактором, обуславливающим его динамику и делающим неотвратимыми языковые изменения.

Приведём здесь несколько грубое и не вполне точное, но весьма иллюстративное сравнение. Смерть каждого конкретного человека вызвана теми или иными причинами, но даже если представить себе, что все причины естественной смерти, то есть все те заболевания, от которых умирают люди, будут когда-то устранены благодаря прогрессу в медицине, это не будет означать, что устранённым окажется сам феномен смерти как таковой. Учёные-физиологи и генетики говорят в этом случае о том, что, когда человек не будет больше умирать от болезней, он будет «умирать от смерти». Известны эксперименты, проводившиеся на мышах, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группы. Контрольная группа жила без генно-инженерного вмешательства и поражалась обычными свойственными мышам болезнями, от которых каждая отдельная особь раньше или позже умирала. Вторая группа получала инъекции препаратов, максимально, в пределах практически до нуля, сокращавшие факторы риска любых заболеваний, в том числе генетически обусловленное старение организма. Мыши этой группы были несравненно активнее своих сверстников из контрольной группы, причём активность эта сохранялась в течение всей их жизни, которая, однако, хоть и длилась несколько дольше и не была отягощена болезнями и немощами, обусловленными старением, рано или поздно прекращалась. Можно сказать, что, несмотря на преклонный мышиный возраст, они умирали во цвете лет. Но – умирали. Бессмертие невозможно, пока присутствует фактор времени. Невозможна и неизменность: рождение, рост и умирание являются общей судьбой всего живого, что подвластно времени. Не всегда так быстро и заметно, но меняется также и неживая материя. Можно сказать поэтому, что изменчивость является абсолютным и непреложным маркером категории времени. Приведённый во Введении пример с вымышленным *индийским* языком говорит о том же, только в отношении интересующего нас предмета – естественного человеческого языка.

Вернёмся теперь к вопросу о том, как лучше представлять себе язык – в качестве независимой от конкретных носителей автономной саморазвивающейся системы или в качестве привязанных к сменяющимся поколениям «идеальных носителей» мозговых файлов, содержащих весь объём лингвистической информации, передающейся *mutatis mutandis* от поколения к поколению. Если подходить к языку как к историческому феномену, оказывается, что это, в общем, безразлично. Важнейшим являются здесь два фактора: фактор развития, по необходимости включающий изменение, и фактор автономности, обуславливающий размещение исследуемого феномена в некоем «идеальном», а следовательно, меж- или надындивидуальном пространстве. Русский язык, например, является не языком какого-то конкретного его носителя, но языком живущего в наше время абстрактного индивидуума, владеющего им в полном объёме и получившего его в наследство от своих, столь же виртуальных, как он сам, предков. Такое представление о русском (как, естественно, и любом другом) языке не исключает, а, напротив, подразумевает его отождествление с автономной саморазвивающейся системой, то есть антропоцентрический подход к языку (при условии его перевода в необходимую для построения адекватной теории абстрактную плоскость) вполне конгениален подходу органическому.

Здесь, конечно, возникает большое число возражений, которые критики представленной выше концепции языка обычно считают достаточными для объявления её несостоятельной. Дело в том, что в действительности мы имеем дело с продуктами речевой деятельности (текстами большего или меньшего объёма), устными или письменными, которые привязаны к вполне конкретным авторам, являющимся носителями языка. Во второй половине XX в. в рамках появившейся тогда лингвистики текста как новой отрасли языкознания прозвучал призыв к «онтологизации» языкознания как науки *a posteriori*, единственным реальным предметом которой являются именно тексты как материальная форма реализованной речи (ср. Hartmann

1971: 15). В действительности, вместо «онтологизации», теория языка достигла здесь, при всех несомненных заслугах лингвистики текста, высочайшего уровня «деонтологизации» объекта исследования, поскольку любой текст является лишь продуктом реализованной языковой способности его эмитента и зависит от целого ряда факторов, не имеющих ни малейшего отношения к свойствам языка. Онтологическая «вторичность» конкретных текстов, в общем, не требует дополнительных объяснений. Вместе с тем понятно, что любая возможность хотя бы иллюзорной эмпирической фиксации объекта исследования для учёного оказывается зачастую приоритетной задачей. Определение языка как *совокупности существующих на нём текстов* имеет поэтому целый ряд преимуществ, выводя предмет языковедческого анализа из сферы спекулятивной теории в область эмпирически несомненных объектов. При этом формально отсутствуют препятствия для рассмотрения языка в качестве исторического феномена, правда, при условии наличия текстов, составленных в разные эпохи его развития.

Тем не менее «текстовый» подход к языку в смысле онтологизации естественного языка через тексты как материальное воплощение языкового кода приводит в конечном итоге к отказу от теории языка в том смысле, в котором мы вообще понимаем теорию любого явления, то есть начисто лишает язык (как совокупность текстов) того уровня абстракции, при котором возможно построение какой бы то ни было теории. Чтобы лингвистика могла претендовать на статус науки, необходимо, чтобы она имела не только «описательную», но прежде всего «объяснительную адекватность» (Хомский). Если мы не в состоянии предложить объяснения причин и механизмов бытования того или иного феномена и заведомо, на стадии определения данного феномена, ограничиваем возможность его изучения простым описанием и (или) классификацией его составных частей, мы *volens volens* находимся на донаучной стадии его исследования. Безусловно, можно и на этой стадии провести весьма внушительную по объёму привлекаемого материала подготовительную работу, однако подлинные вопросы теории и после этой работы будут ждать своего решения.

Конечно, можно было бы преодолеть возникающую лакуну между конкретно и абстрактно понимаемым языком, занимаясь изучением не «языка вообще», а языка конкретных его носителей, воплощаемого в конкретных текстах, доведя их число до некоего критического порога, за которым можно было бы построить теорию языка на основе полученной «равнодействующей» индивидуальных языков. Подобный подход вполне реализуем, учитывая современные возможности информатики, позволяющие охватить миллиарды примеров из миллионов текстов, затем аннотировать полученный корпус соответствующим образом, после чего, применяя статистические методы анализа, предложить более или менее достоверную теорию каждого из изучаемых сегментов такого усреднённого языка. С другой стороны, используя методы экспериментальной нейролингвистики, можно изучить большое число носителей языка с точки зрения процессов, происходящих в головном мозге при порождении и (или) восприятии множества различных фраз, соотнося при этом информацию, получаемую на «входе», с регистрируемыми на «выходе» данными. Всё это действительно широко применяется в современной лингвистике, всё больше приобретающей междисциплинарный характер.

Вопрос, однако, состоит в том, какого рода теория может возникнуть в результате подобных подходов, даже если вообразить, что на определённом этапе исследований можно будет их каким-либо способом синтезировать и привести к некоему общему знаменателю. Первое, что сразу же бросается в глаза, – это невозможность получения таким образом адекватных результатов, касающихся языковых изменений, по крайней мере, в филогенезе. Онтогенез изучать здесь, правда, вполне реально, при условии непрерывного наблюдения за текстами, порождаемыми испытуемыми индивидами, в процессе приобретения и развития ими языковых знаний, то есть от первых слов и фраз до достаточно полного овладения языком. Источником же знаний о филогенезе могут служить исключительно тексты, созданные в разные исторические эпохи, однако в силу того, что древнейшие тексты, написанные на большинстве языков, сохранились

лишь в незначительных фрагментах, сопоставить их с тем, что нам известно о современном состоянии языков, можно лишь в очень скромных объёмах. Конечно, здесь можно было бы воспользоваться уже упомянутым выше крайне редуccionистским, хотя и по сути своей в известной степени приемлемым, тезисом Лайтфута о механическом переносе онтогенеза на филогенез и отказе от привлечения «музы Клио» для изучения причин и механизмов происходящих в языке изменений. Но одно дело проводить вполне оправданные параллели между индивидуальным и «видовым» развитием, и совсем другое вообще отказаться от второго в пользу первого как целиком его замещающего. Подобные редукции в теории всегда ведут к существенной рассогласованности в выводах и крайне неточным результатам, поскольку степень пересечения онтогенеза и филогенеза никогда не может считаться удовлетворительной для построения сколько-нибудь достоверной теории.

Итак, язык как объект научного исследования, в отношении которого возможно построение адекватной научной теории, должен быть определён как исторический (изменяющийся во времени) феномен, представляющий собой самодвижущуюся систему, локализованную в сознании его носителей и передаваемую в постоянно меняющемся и в то же время достаточно стабильном для обеспечения взаимопонимания носителей виде от поколения к поколению. Описание же языка, а главное, объяснение законов его бытования и развития, возможно лишь при его абстрагировании от конкретных носителей, то есть его понимании как некоей виртуальной системы, приписанной посредством необходимой процедуры абстрагирования сменяющимся поколениям абстрактных «идеальных носителей». Без ввода этой «лингвистической равнодействующей» любые попытки индивидуализации языкового сознания или сведения задач лингвистики к изучению корпуса текстов обречены на донаучный или околонаучный, квазитеоретический подход. Сказанное вовсе не следует понимать как требование абстрагироваться от анализа фиксируемых в корпусе текстов форм и структур. Понятно, что именно данные формы и структуры, являющиеся результатом речевой деятельности конкретных, а не абстрактных носителей языка, образуют материал любого лингвистического исследования. Однако необходимо видеть и иную, существенную с точки зрения лингвистической теории, плоскость, в которой совокупность анализируемых реальных манифестаций языка в виде текстов представляет собой лишь отправную точку для сведения воедино всех присущих данным формам и структурам общих черт, обуславливающих бытование языка и языковые изменения для языкового сообщества в целом. Именно об этом идёт речь, когда вводится понятие «идеального носителя» в синхронии и «идеальных носителей» в историческом плане.

## Что такое время?

Язык как историческое явление *par excellence* целиком погружён во время. На это, в частности, обратил внимание выдающийся румынский лингвист, исследователь истории языка и языковых изменений Эугенио Косериу (ср. Coseriu 1958). Казалось бы, это вполне тривиальное замечание. Действительно, как же ещё можно мыслить феномен, который динамичен по самой своей сути? Достаточно вспомнить, что в течение нескольких столетий лет язык меняется до неузнаваемости, так что мы уже не в состоянии понять текстов, написанных, скажем, в XV веке, если не обладаем специальными знаниями в области его истории. Изменение, развитие, как и возникновение и исчезновение (как в случае с мёртвыми языками) – всё это признаки феноменов, для которых время является сущностной доминантой, почему мы и не можем дать их адекватного определения, исключив временную отнесённость. Однако после того, как в языковедении в начале прошлого века произошёл «синхронический переворот» под влиянием трудов Фердинанда де Соссюра и его учеников, а также некоторых других представителей нового, структуралистского направления в лингвистике, роль времени в определении языка существенно изменилась. Конечно, ни Соссюр, ни его многочисленные последователи не отрицали принципиальной историчности языка. Однако они впервые, полемизируя с господствовавшими тогда взглядами так называемой младограмматической школы на язык как сугубо историческое явление, выдвинули тезис, что методологически вполне возможно рассматривать язык в данный момент его существования как статическую систему. Соссюр (Saussure 1916) противопоставляет «статическую» и «эволюционную» лингвистику как два принципиально различных подхода к языку, исключая при этом синтетическую, «панхроническую» точку зрения, которая позволила бы в какой-то мере примирить оба подхода, не отсекая язык от времени хотя бы онтологически. Впрочем, собственно онтологией языка структурализм интересовался мало. Косериу в принципе принимает соссюрское понимание дихотомии синхронического и диахронического описания языка, но лишь как методологическое решение. Что же касается природы языка, то он настаивает именно на его историчности как стержневом признаке, объединяющем динамизм в синхронии и диахронии. Данная проблема будет рассмотрена в разделах о языковых изменениях. Здесь лишь отметим, что после структурализма вновь заговорить о языке в его историческом измерении как онтологической доминанте вовсе не казалось тривиальным и остаётся весьма актуальным до сего дня.

Но что же такое время и как следует его понимать в отношении языка? В трактате «Тимей» Платон определяет время ( $\chi\rho\nu\nu\omicron\varsigma$ ) как «движущееся подобие вечности». Такое понимание вполне укладывается в рамки платоновской картины мира, где понятийный мир, мир идей является мерилom и подлинной сутью вещей, тогда как мир осязаемых явлений есть лишь его бледная копия. Вечность неподвижна, но и недоступна восприятию, а воспринимаемый мир опосредован временем, движением, которое, не обладая «благородством неизменности», тем не менее содержит, пусть на первый взгляд и противоположное ей, грубое, но всё же реальное отнесение к вечности. Чтобы получить вечность в её идеальной форме, необходимо отсечь время, и тогда подобие станет сущностью, о которой оно сигнализирует в пространственно-временном, вещественном мире. Отсечение же времени в вещественном, материальном мире невозможно. Аристотель в «Физике» говорит о времени как «мере движения». Здесь акцент явно смещается в сторону собственно воспринимаемого мира. Время не столько уподобляется вечности, сколько само является мерой существования вещей в природе. Движение следует понимать при этом как любое изменение, а не просто как механическое перемещение в пространстве. Блаженный Августин развивает идею субъективного времени, то есть вычленяет из следующих друг за другом событий их восприятие душой человека, сознанием. В этой связи он вводит понятие *distentio animi*, то есть буквально «расширения, растяжения души».

Имеется в виду, что время есть особая форма восприятия мира сознанием, способным делить его на отрезки, а именно настоящее, прошлое и будущее. Отрезки эти, согласно Августину, не равны друг другу по своей онтологической сути. Собственно неизменным, хотя и неуловимым, является лишь настоящее, из перспективы которого мы на что-то надеемся или чего-то боимся (будущее) или же о чём-то вспоминаем (прошлое). В *Confessiones* (Augustinus XX: XXVI) он пишет:

Неправильно говорить, что есть три времени: прошедшее, настоящее и будущее, но намного правильнее было бы сказать, что есть три времени: настоящее для (обозначения) прошлых событий, настоящее для (обозначения) настоящих событий, настоящее для (обозначения) будущих событий. Ибо в душе суть сии три вещи, и нигде больше я их не вижу. В настоящем мы вспоминаем прошлое, в настоящем переживаем настоящее, в настоящем ожидаем будущего (перевод с латинского мой. – М. К.)<sup>5</sup>.

Интересно, что это понимание времени как категории сознания (или «души») Августином по своей онтологической сути согласуется с последними данными нейрофизиологии, согласно которым «память имеет ту же природу и “адрес” в мозгу, что и воображение, фантазии; если нарушен гиппокамп, то страдает не только сама память (то есть прошлое), но и способность представлять и описывать. Иными словами, память – “мать воображения”» (Черниговская 2013: 37–38). Историческое время блж. Августин понимает, однако, несколько иначе – как линейное явление, находящееся вне человеческой души, которому он, впрочем, не придаёт центрального значения.

«Объективное» понимание времени Аристотелем находит своё продолжение в системе Исаака Ньютона, вводящего понятие «абсолютного времени», которое равномерно течёт и не имеет начала и конца (ср. Knudson & Hjort 1995: 30). Данная концепция, наряду с ньютоновским понятием «абсолютного пространства» (ср. там же: 155), во многом лежит в основе современного «естественно-научного» понимания времени.

В противоположность Ньютону, Готфрид Лейбниц в понимании времени следует за блж. Августином. Для Лейбница время – не что иное, как способ созерцания предметов в монаде (ср. Weizsäcker 1989: 92–93), то есть относится к сфере сознания, а не бытия. Эту мысль доводит до логического завершения Иммануил Кант, полагавший, что время является априорной формой созерцания явлений (ср. Kant 1787/2016: 52–67). Время, по Канту, субъективно по самой своей природе, а потому любая попытка разума его объективировать приводит к возникновению неразрешимой антиномии между непрерывностью и дискретностью времени, которая имеет как генеалогическое измерение (существовало время всегда или оно когда-то возникло?), так и «практическое» (если время делится на бесконечно малые отрезки, то как возможно его течение, то есть как может «пройти» что-то, что делится на бесконечное число частей?). Эти глубинные противоречия свойственны, согласно Канту, сознанию, а не предмету его созерцания, поскольку сам этот предмет, или «вещь как таковая»<sup>6</sup>, не может быть анти-

<sup>5</sup> «Nec proprie dicitur: Tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum; sed fortasse proprie diceretur: Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio».

<sup>6</sup> Одно из центральных понятий, вводимых Кантом для определения непознаваемой разумом «ноуменальной» сферы (в отличие от явленной нам в опыте сферы «феноменальной»), – «das Ding an sich». Каноническим переводом этого термина на русский язык является, как известно, «вещь в себе». Однако данный перевод, на наш взгляд, не вполне адекватно отражает подлинное значение данного выражения. Кант имеет в виду не столько какую-то «вещь в себе», отдельно существующую и противопоставляемую познаваемым предметам, сколько «вещь саму по себе», не явленную, но сущностную, онтологически определяемую. Поэтому мы используем здесь перевод «вещь как таковая», что, как представляется, правильнее, в том числе с чисто грамматической точки зрения, учитывая значение предлога *an* в сочетании с местоимением *sich*, который в обычной речи (в отличие от *in*) переводится не как «в» (*в себе*), а как «по сути», «как таковой» и т. п., ср. *das Problem an sich* ‘проблема сама по себе, как таковая, собственно проблема’.

номичен по определению. Мы не можем мыслить чего-то вне времени, но к такому способу мышления нас понуждает не объективно существующее вне нас время, а наше созерцание, априорно «привязанное» к категориям времени и пространства. Человек рождается с вложенной в него, существующей до всякого опыта, способностью мыслить предметы не иначе как во времени и пространстве, в силу чего вообще возможно их познание как явлений.

Кантовская трактовка времени отчасти преодолевается введённым квантовой физикой понятием «планковского времени», где постулируется существование мельчайшего, неделимого мгновения, или *хронона*, составляющего около  $5,3 \cdot 10^{-44}$  секунды (ср. Caldirola 1980). Допущение хронона решает проблему непрерывности и дискретности времени в пользу последней, по крайней мере, на уровне *течения* времени, хотя и не снимает её в генеалогическом смысле, то есть на уровне его *возникновения*.

Анри Бергсон (2001; 2012: 56–102) вводит понятие *duréc*, перевод которого на русский язык как 'длительность' подвергался критике (ср. Блауберг 2003: 624–625). Речь идёт о процессуальности, движении, воспринимаемом сознанием человека как неделимое целое предметной и временной сферы. При этом «длительность» (или «процессуальность», движение) не делится на моменты, но является непрерывным развитием, накоплением субстанции от прошлого к будущему. Весьма существенную сторону концепции Бергсона, позволившую ему говорить об относительности, субъективности времени, отмечает в своей книге Черниговская (2013: 50, 332–333):<sup>7</sup> сознание конструирует время, так сказать, «на свой лад», следствием чего являются так называемые временные иллюзии, когда длительность тех или иных событий воспринимается сознанием субъективно, часто смещённо по отношению к тому, что можно было бы считать «естественным течением времени», если бы ему было место в концепции Бергсона.

Мартин Хайдеггер в своём раннем труде «Бытие и время» (ср. Heidegger 1927/1967) пытается разработать онтологическую концепцию времени, относя его непосредственно к категории бытия. Эта концепция отличается от всех предыдущих представлений о сущности времени тем, что время предстаёт в ней не как объективная физическая категория и не как свойство сознания, обеспечивающее восприятие им бытия, а как основное условие самого бытия. При таком подходе время противостоит уже не вечности, а небытию. Здесь картина Платона, который проводит противопоставление по линии «вечность как неподвижность, неизменность и бессмертие» – «время как движение, изменение и исчезновение», в прямом смысле переворачивается. Исчезновение времени конгениально исчезновению сущего, ибо всё сущее может быть таковым лишь внутри времени.

Теория относительности Эйнштейна и развитие квантовой физики в известной степени сгладили противоречия между «объективистской» и «субъективистской» концепциями времени. Первая показала, что относительность времени является не столько субъективным, сколько именно объективным феноменом, поскольку зависит, в частности, от скорости передвижения объекта в пространстве. При скоростях, близких к скорости света, время замедляется. Популярная иллюстрация данного явления содержится в известном «парадоксе близнецов». Когда близнецам исполнилось 30 лет, один из них остался на Земле, а другой отправился в космический полёт на корабле, перемещавшемся в пространстве со скоростью, сопоставимой со скоростью света. Через три года он вернулся на Землю, где три года, прошедшие для него,

<sup>7</sup> Единственное возражение вызывает здесь объединение концепций времени Ньютона и Канта, что означает, в частности, противопоставление кантовской теории времени взглядам Бергсона: «Что считать объективным, говоря о времени? У Ньютона и Канта время субстанционально, а значит, объективно, у Бергсона – субъективно, оно растягивается, сжимается, застывает» (ср. Черниговская 2013: 333). Понятно, что кантовская концепция не тождественна пониманию Бергсона в том смысле, что Кант не рассматривает время как изменчивую категорию, подверженную растяжению или сжатию в зависимости от работы индивидуального сознания, и в этом смысле кантовское время, наверное, можно считать «субстанциональным». Однако эта субстанциональность по своей сути всё равно несравненно ближе Бергсону, чем Ньютону (хотя сам Бергсон (2012: 68–69) отчасти пытается это оспорить), так как у последнего она понимается как вообще независимое от сознания человека, объективное свойство внешнего мира.

соответствовали десяткам лет, и увидел, что его брату уже за 80. Впрочем, никакого преимущества от этого молодой путешественник не получил, поскольку субъективно для него прошло именно три года, а для его брата – более 50. Объективность времени здесь совершенно очевидна, поскольку, если в описании парадокса времени заменить близнецов, скажем, одинаковыми электрическими лампочками, то та из них, что улетит в космос со скоростью, близкой к скорости света, по возвращении на Землю будет гореть, а та, что останется на Земле, к тому времени давно перегорит. Да и физиологические параметры близнецов будут свидетельствовать об их возрасте совершенно независимо от их личных ощущений. Иными словами, получается картина, в известной мере противоположная бергсоновскому *duréc*. То, что мы привыкли считать критериями субъективности, прежде всего ощущение течения времени рефлектирующим субъектом, оказывается вторичным по сравнению с парадоксальным фактом, что время объективно может протекать неравномерно в разных системах.

Что касается квантовой физики, то она описывает процессы, которые, по словам выдающегося физика Льва Ландау, «можно объяснить, но невозможно себе представить». Это в полной мере относится и к категории времени. Оказывается, что в мире мельчайших частиц объекты ведут себя совершенно иначе, в том числе по отношению ко времени, чем в макром мире. В частности, для них характерны иные соотношения между пространством и временем, а траектория движения одного и того же кванта может быть одновременно разнонаправленной, в результате чего он может оказаться в так называемой суперпозиции, то есть пребывать одновременно в разных точках. Правда, до сих пор нет объяснения того, как суперпозиция связана с позицией самого наблюдателя.

Все концепции времени, сколь далеко бы ни отстояли друг от друга лежащие в их основе представления, объединяет фактор необратимого изменения. Феномены окружающего мира *проявляют* свою временную отнесённость посредством происходящих в них и с ними изменений, и никак иначе. Поэтому и в отношении человеческого языка время играет определяющую роль не только в том смысле, что язык существует лишь во времени, но прежде всего в том смысле, что его бытие (читай, изменчивость) целиком производно от времени: одни его части меняются сравнительно быстро, другие несколько медленнее, третьи как будто вообще неподвижны, и их изменение можно наблюдать, лишь сопоставляя тексты разных эпох, между которыми лежат века. Помимо этого, временная отнесённость языка имеет существенное методологическое значение, касающееся его изучения, то есть предмета и метода лингвистической науки. Даже если полностью принять максимум Соссюра, что язык можно изучать либо как неподвижную систему (то есть безотносительно ко времени), либо как череду изменений (то есть только во времени), то ответ на вопрос, какой именно подход будет соответствовать *сути* языка, не вызывает сомнений. Конечно, чтобы изучать общение на данном языке, приходится абстрагироваться от его изменчивости, но это лишь искусственное «вырезание» относительно стабильного фрагмента его истории в методических целях. Язык по своей глубинной сути совершенно не похож на феномены, изучение которых без учёта фактора времени соответствует их онтологии. Скажем, физические законы или химические свойства веществ вневременны, хотя объекты, описываемые посредством физики или химии, меняются с течением времени. Формула воды была и остаётся неизменной. Вода при обычных условиях будет всегда закипать при температуре 100 °С и замерзать при температуре ниже нуля. Сколько бы мы ни подбрасывали камень вверх, он всегда упадёт вниз. Природа ветра остаётся неизменной независимо от того, когда именно он дует. Законы, управляющие этими и подобными им процессами, существуют помимо времени, а следовательно, временем при их изучении не только можно, но должно пренебрегать. Совершенно иначе дело обстоит с такими феноменами, как, например, живые организмы или человеческие сообщества. Безусловно, их тоже можно рассматривать на каком-то временном срезе, абстрагируясь от их изменчивости. Но такое рассмотрение всегда оказывается неполным, ущербным. Представим себе для сравнения

пациента, пришедшего к врачу. Может ли врач поставить ему диагноз, руководствуясь исключительно его нынешним состоянием? Очевидно, что может, особенно учитывая методы современной диагностики. Вместе с тем такое ограничение, делаемое сознательно, едва ли оправдано. Понятно, что история болезни чрезвычайно важна не только в диагностике заболеваний, но и в оценке прогноза болезни и назначении адекватного лечения. Ещё более адекватная картина будет у врача, если он будет знать, чем болели ближайшие и даже дальние родственники пациента, каковы генетически обусловленные особенности его организма, с кем он общался в последнее время. Подобные выводы, конечно, *mutatis mutandis*, применимы и к языку. При его изучении всегда существенна генетика, исторически обусловленные связи, контакты с другими языками, все происходившие изменения и их механизмы. Без этого совершенно невозможно понять природу языка, его сущность. Именно поэтому историческое изучение языка, природы, сути и механизмов происходящих в нём и с ним процессов, является необходимым условием правильного понимания того, как он сформировался и как живёт в своём настоящем виде, сегодня. История языка – это не одно из его измерений, а глубинная, сущностная природа. Язык, собственно, и *есть история*, то есть развитие, целиком зависящее от фактора времени и обусловленное им, как и жизнь поколений его носителей.

Язык, живущий в каждом человеке в виде врождённой компетенции, обусловлен временем в несколько ином смысле. Согласно идее Хомского, возникновение некоего ментального алгоритма в мозге *homo sapiens* произошло скачкообразно, то есть здесь проявляется дискретность времени, привязанность языка к его «импульсной» составляющей. Однако, однажды возникнув, языковая компетенция впоследствии как потенция, позволяющая изучить хотя бы один язык, у *homo sapiens* остаётся достаточно стабильной и может в этом смысле считаться вневременной. Здесь мы вступаем в область достаточно сложной, но чрезвычайно важной дихотомии между дискретностью, универсальным, вневременным характером языковой способности человека и относительным, непрерывным развитием языка как эпифеномена этой способности. Получается, что качественно новый алгоритм мозга, возникший как центральная отличительная особенность человека по сравнению с прочими представителями живой природы и позволяющий облечь рефлексию в форму линейно организованных (следующих друг за другом) материальных акустических сигналов, так сказать, «выплеснувшись вовне», обретает форму подвижного, изменчивого «материала», целиком погружённого во временную среду. Таким образом, возникновение и развитие языка является как бы отпечатком соотношения времени и «вечности».

## Имеет ли право на существование вопрос о происхождении естественных языков?

Отто Есперсен (ср. Jespersen 1922: 418) делает относительно происхождения языка следующее малоутешительное обобщение: «transformation is something we can understand, while a creation out of nothing can never be comprehended by the human understanding»<sup>8</sup>. Классик современной теории языковой эволюции Роджер Ласс (Lass 1997: 305) комментирует данный постулат следующим образом: «I'm not sure that this is true, but whether it is or not there is an interesting theoretical problem»<sup>9</sup>. Проблема в теоретическом отношении действительно крайне интересна, однако едва ли её реальный «теоретический потенциал» может быть исчерпан при рассмотрении языка в отрыве от сознания человека, что пытается сделать, в частности, Ласс в своей книге об исторической лингвистике и языковых изменениях, откуда взята приведённая цитата. Дело в том, что, когда мы говорим о происхождении феноменов, локализованных в нашем сознании (скажем, *символов* в широком понимании), мы неизбежно сталкиваемся с почти неразрешимой в онтологическом смысле проблемой. Приходится изучать, как сознание работает с самим собой, то есть постоянно сочетать субъект и объект познавательного интереса (ср. Мамардашвили/Пятигорский 2011: 24–39). Конкретно о происхождении языка, которое в отношении теории предмета, по мнению авторов, сопоставимо с построением теории смерти<sup>10</sup>, наступающей, как и появление языка, в момент, который индивидуальное сознание не в состоянии уловить по онтологическим, сущностным причинам, в этом труде говорится, в частности, следующее:

[...] в попытке построения теории сознания или теории смерти фактически обнаруживаемые нами особенности ограничивающих условий вынуждают нас поставить вопрос о необходимости *метатеории* [курсив мой. – М. К.] там, где невозможна теория. И те же самые причины действуют, когда ставится вопрос о метатеории языка, во всяком случае в той части теории языка, которая касается проблемы его происхождения и истории, ибо эта проблема не может быть поставлена по той простой причине, что любая попытка этого описания уже содержит в себе те условия и те средства, происхождение которых как раз и должно быть выяснено. [...]. Мы не можем восстановить язык как девственный факт, перед которым не было языка, а потом язык появился как нечто первичное. Мы можем описывать в диахроническом плане только конкретные структуры какого-то существующего языка, отвлекаясь от проблемы происхождения языка и структуры языка в абсолютном смысле этого слова. Совершенно аналогичное явление присутствует и в онтогенезе языка. До сих пор, строго говоря, совершенно непонятно, каким образом за первые четыре года жизни человек научается языку. Практически получается так, что наступает время, когда он уже овладел элементами языка, и все попытки детерминировать «ситуацию овладения языком» какой-то начальной, исходной ситуацией кажутся абсолютно неплодотворными. Мы можем здесь лишь «идти дальше», от этапа, когда он уже овладел «первичными» элементами языка, к

---

<sup>8</sup> «Изменение – это то, что мы можем понять, тогда как сотворение из ничего человеческому пониманию недоступно».

<sup>9</sup> «Я не уверен, что это так, но, как бы то ни было, – это интересная теоретическая проблема».

<sup>10</sup> Относительно последней выдающийся польский писатель-сатирик, мастер афоризма Станислав Ежи Лец необычайно метко написал: «Опыт учит нас, что умирают только другие».

последующим этапам его языкового научения, то есть, по сути дела, к этапам расширения его языковой эрудиции, поскольку она уже была дана в 3–4 года. Но каким образом это произошло – детерминистически осознать это практически невозможно, потому что любая попытка детерминистского осознания этого, т. е. детерминистского восстановления начальных условий, уже содержит в себе в скрытом виде сами эти начальные условия. Но это не тот вид начальных условий, который предположительно является генетически предшествующим, – генетически предшествующее начальное условие исчезло и не восстановимо (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 25–26).

Приведённая обширная цитата содержит ответ на вопрос о специфике проблемы происхождения языка как в филогенетическом, так и в онтогенетическом аспекте. Вывод авторов о том, что поэтому «наука лингвистика должна принимать факт языка как целое, нерасчленимое с точки зрения его генезиса» (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 25) в значительной степени согласуется с дихотомией синхронии и диахронии де Соссюра, где обе составляющие принадлежат именно структурно понимаемым феноменам языка, существующим безотносительно к языковому генезису в онтологической перспективе. Хомский, в свою очередь, решает вопрос достаточно радикально, постулируя способность к порождению фразы на глубинном, мыслительном уровне, именно в качестве того «начального условия», о котором говорится в приведённом выше фрагменте из книги Мамардашвили и Пятигорского «Сознание и символ». Однако он, во-первых, исключает данный, чисто логико-схематический, модуль из числа категорий, связанных со знаковой (символической) природой языка, а во-вторых, постулирует его как языковую компетенцию человека, данную а priori, от рождения, в связи с чем вопрос о её генезисе выводится за скобки теории. Иными словами, способность к генерированию синтаксических структур как абстрактная схема соединения потенциальной именной и потенциальной глагольной фразы присутствует у человека от рождения и образует *начальное условие* его языковой компетенции, которая в процессе обучения языку «обрастает» символическими формами как вторичными, поверхностными феноменами, обеспечивающими использование языка в повседневной жизни. Здесь можно привести несколько грубое, неточное сравнение языкового (несимволического, категориально-логического, абстрактно-синтагматического) модуля в мозге человека с такими органами, как, например, глаз или ухо, обеспечивающими ориентацию посредством зрения и слуха, с поправкой на то, что языковой модуль присущ из всех живых существ в том виде, как его понимает Хомский, лишь человеку. Начальным условием зрения является наличие глаза, а начальным условием говорения – не только наличие органов речи, но и – на глубинном уровне – «языкового модуля», локализованного в мозге. При этом, согласно Хомскому, языковая компетенция как начальное условие говорения целиком лежит в сфере скрытограмматических (глубинных) структур, имеющих абстрактно-логическую природу. Концепция Хомского в несколько упрощённой, но нисколько не искажающей её формулировке, может быть выражена так: если принять тезис, что язык состоит из слов и правил их соединения во фразы, то начальным, первичным, априорным, врождённым условием языкового знания являются правила, тогда как сами языковые знаки (слова) располагаются на уровне вторичных, производных, приобретаемых условий. Для концепции языка Хомского крайне важным является поэтому разграничение знания и опыта: если природа знания, то есть сама его возможность, согласно Хомскому, априорна и не зависит от привходящих условий, то опыт приобретается в результате накопления реальных знаний, получаемых, однако, независимо от опыта, в силу наличия у человека (и только у человека) от рождения данного модуля, имеющего глубинную, логико-грамматически организованную природу (ср. Chomsky 1973: 130–132). Сущность знания, данного как возможность, познавательная потенция, состоит, таким образом, в его природном, органически данном характере, который в своей основе не зависит ни от особенностей конкретного индивидуума, ни от тех условий развития, которые предостав-

ляет ему социум. Эти факторы определяют лишь степень и объём получаемого в опыте знания, но не являются источником познавательной способности, которая в её «грамматико-логическом» виде свойственна каждому человеку.

Идея Мамардашвили/Пятигорского о необходимости метатеории для объяснения феноменов, относящихся к сфере человеческого сознания, практически была неоднократно применена и применяется до сего дня, пусть без сопоставимого терминологического каркаса, в реальной предыстории и истории языкознания. Впрочем, вполне понятно то недоверие, с которым такой подход сталкивается в науке, поскольку, прежде чем говорить о правомерности замещения теории метатеорией, следует выяснить, насколько выводы метатеории вообще сопоставимы с обычными теоретическими обоснованиями, которые используются в тех областях знания, где сознание исследователя направлено не внутрь себя, а вовне, на предметы, принципиально от сознания отличные. Если мы, руководствуясь спецификой предмета нашего исследования, делаем вывод, что его генезис не может в принципе изучаться, скажем, подобно генезису живых организмов, нам необходимо не просто предложить альтернативный подход, но и доказать его научную обоснованность, то есть конгениальность строяемой теории и её постулируемого эмпирического доказательства или опровержения. Если же в итоге наших логических рассуждений получится, что такого рода теории нам создать в отношении запрашиваемого феномена не удаётся, то мы должны будем признать невозможность исследований, касающихся данного феномена в его полноте, и сократить претензии к теории до некоего эмпирически доказуемого фрагмента данного феномена. Всё прочее, скажем, для учёного-естественника, вообще не может претендовать на статус полученного нового знания, ср. достаточно жёсткий и однозначный вывод Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана (Feynman 1967: 159) по поводу, в частности, попыток учёных-психологов обосновать правомерность нечётких определений спецификой объекта их изучения: «Обычно говорят [...]: 'Когда Вы имеете дело с психологическими объектами изучения, они не могут быть определяемы абсолютно точно'. Да, но в таком случае вы не можете претендовать на обладание каким бы то ни было знанием о них»<sup>11</sup>. В отношении языка речь идёт конкретно о правомерности постановки вопроса о его происхождении (первичном генезисе) в онтогенезе и филогенезе. При этом для лингвиста, по справедливому замечанию Хуберта Хайдера (ср. Haider 2017: 26), задача упрощается тем, что существенная часть его экспериментов уже поставлена самой природой в виде существования различных языков. Тем не менее вопрос о роли эксперимента (или опыта в широком понимании) при изучении объектов, предельно близких субъекту изучения, когда границы субъективного и объективного предельно размыты, остаётся открытым. Можно ставить «настоящей науке» сколь угодно жёсткие гносеологические рамки, но едва ли это решит проблему тождественности знания в сфере естественных наук и в сфере сознания (то есть, по исконному значению слова, *со-знания*), где всякий эксперимент, объявляемый естественными науками единственным и окончательным критерием истинности или ложности теории, просто в силу специфики этого иноприродного по своей сути знания, подвержен интерпретации, столь же существенной, сколь выявляемый и подтверждаемый экспериментом вывод. Если знание включает в себя интерпретацию, приходится с этим считаться, даже если при этом отказать знанию в претензии так называться. Что делать, если знание о сознании или, если угодно, знание о знании – по самой своей природе не то же самое, что знание, скажем, о строении вещества или о свойствах электромагнитного поля? Можно, конечно, сказать, что в этом случае то, чем занимаются исследователи сознания (или языка в значительных его частях), вообще не является наукой. Но это, в конце концов, вопрос конвенции, что считать наукой и каковы её границы. Когда Бертольда Брехта упрекали в том, что его пьесы не имеют никакого отношения

<sup>11</sup> «It is usually said when this is pointed out 'When you are dealing with psychological matters things can't be defined so precisely'. Yes, but then you cannot claim to know anything about it» (перевод с английского мой. – М. К.).

к *театру*, он ответил, что будет заниматься тем же самым, даже если придётся переименовать его театр в *таеатр*. Впрочем, с языком дела обстоят не столь драматично. Следует просто ясно представлять себе, какие его черты поддаются объективации, а какие – нет, и применять к соответствующим свойствам языка адекватные методы анализа. Как это обстоит в отношении проблемы происхождения человеческого языка?

Вначале обратимся к истории вопроса. Происхождение человеческого языка занимало людей с древнейших времён, о чём свидетельствует присутствие данной темы в памятниках письменности, дошедших до нас из глубины веков. В самом начале первой книги Пятикнижия Моисея – «Бытии» о возникновении первых слов говорится практически одновременно с описанием сотворения мира: сотворение земли и светил Богом сопровождается их *именованием*, а сам акт творения облекается в словесную форму, причём говорение и действие онтологически тождественны друг другу:

И *сказал* Бог: да будет свет. И *стал* свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И *назвал* Бог свет днём, а тьму ночью. [...] И *сказал* Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И *стало* так [...] И *назвал* Бог твердь небом. [...]. И *сказал* Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И *стало* так. И *назвал* Бог сушу *землею*, а собрание вод *назвал морями*. И *сказал* Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию её, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. [...]. И *сказал* Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И *стало* так. [...] И *сказал* Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [...]. И *благословил* их Бог, *говоря*: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. [...]. И *сказал* Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. [...] И *сказал* Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. [...] И *благословил* их Бог, и *сказал* им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И *сказал* Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И *стало* так (Быт. 1, 3–30).

Неоднократное повторение триады *сказал – стало – назвал* начинает и завершает акт творения словами, вначале вызывая из небытия явления, предметы и живых существ, а затем давая им имена (ср. Morginić 2009). Интересно, что Бог *в акте творения* произносит *другие* слова, чем в *акте наречения* имён возникшим явлениям. Иными словами, уже в первоначальной «реконструкции» происхождения мира допускается принципиальная множественность имён, присваиваемых объектам. Впоследствии, сотворив человека, Бог наделяет его способностью называть животных, которых Он передаёт в его власть, причём Библия однозначно связывает эту способность человека называть других существ их подлинными, правильными,

соответствующими их внутренней природе и сути именами с тем, что человека Бог создаёт по Своему образу и подобию (ср. Trabant 2003: 16); это же свойство, согласно замечанию выдающегося русского теолога и философа о. Сергия Булгакова (ср. Булгаков 1917/1994: 249, 270), позволяет Адаму верно отделить от прочих живых существ равную ему по природе жену и также наречь ей имя.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и *вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою*. [...] Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и *привёл [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей*. И *нарёк* человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И *сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]* (Быт. 2, 7–24).

Дыхание жизни, «вдунутое» Богом в Адама, позволяет ему, по словам Ю. Трабанта, осуществлять акт наречения, в результате чего имена являются «выдохами человека» («Ausatmungen des Menschen») (ср. Trabant 2003: 16).

Идея предшествования слова действию в акте творения или, по крайней мере, реальной силы языка, творящего, в том числе, предметы окружающего мира, характерна для мифопоэтически представляемой картины мира древнейшего периода развития человечества. В иудео-христианской традиции она занимает одно из центральных мест, сохраняясь и существенно усиливаясь в текстах Нового Завета – достаточно вспомнить начало Евангелия от Иоанна, где Бог именуется Словом (Логосом), которое является основой и абсолютным началом, пребывающим в недрах Бога до сотворения мира и творящим Вселенную:

В начале было *Слово*, и *Слово* было у Бога, и *Слово* было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через *Него* начало быть и без *Него* ничто не начало быть, что начало быть. (Ин. 1, 1–3)

Понятно, что под Словом понимается здесь ипостась Бога, которую ни в коем случае нельзя отождествлять с каким бы то ни было словом человеческого языка. Однако сам факт использования *слова* в качестве метафоры Творца Вселенной крайне показателен. Он свидетельствует о центральном месте концептуальной сферы языка не только в отражении мира человеческим сознанием (что естественно), но и в сотворении мира, что делает данную сферу причастной непосредственной творческой деятельности, порождающей, среди прочего, материальные сущности.

В 1770 году Прусская академия наук объявила конкурс на лучшее объяснение происхождения человеческого языка, на который поступили, в частности, два противоположных по исходной идее труда – работа Иоганна Петера Зюсмилха, написанная в 1766 году (Süßmilch 1766/1998) и работа Иоганна Готтфрида Гердера (Herder 1772/1789/1982), впервые опубликованная уже после присуждения премии, в 1772 году. Зюсмилх защищал идею божественной природы человеческого языка, тогда как Гердер объяснял происхождение языка естественными причинами, полагая, что язык имеет человеческую природу. Понятно, что объяснение Гердера тоже было далеко от материалистического. Спор касался исключительно вопроса о том, является язык результатом передачи его законов человеку некоей высшей инстанцией, то есть Богом, или же он возникает естественным путём вследствие заложенной Богом «языковой способности» человека как Его образа и подобия. Согласно Зюсмилху, Бог непосредственно *обучал* Адама языку, сообщая ему слова и правила их соединения во фразы. Гердер

отмечает этот центральный тезис Зюсмилхы и отстаивает точку зрения, согласно которой человек сам *творит* язык в силу присущей ему способности к именованию предметов и явлений окружающего мира, благодаря которой он обладает особым свойством познания, кардинально отличающим его от животных, хотя, по Гердеру, эти последние также имеют некое подобие языка, так что вычленение человека из животного мира имеет эволюционную, а не онтологическую основу. Победа в конкурсе была присуждена Гердеру, поскольку его объяснение членам жюри показалось более логичным и последовательным. Понятно при этом, что как сам вопрос, заданный авторами идеи конкурса, так и аргументация каждого из его участников имеют мало общего с собственно научной постановкой проблемы и её решением, как они видятся с учётом современных представлений о языке и методах его исследования. Поэтому дискуссия между Зюсмилхем и Гердером сегодня имеет лишь исторический интерес. Дело здесь прежде всего в том, что ни Зюсмилх, ни Гердер не ставят кардинальных вопросов онтологии естественных языков, от ответа на которые могла бы зависеть обоснованность их аргументации. Вместо этого дискуссия заведомо предполагала чисто спекулятивный характер как самих постулатов, так и приводимых в их защиту или опровержение аргументов. Характерно, что вопрос о происхождении языка невозможно разрешить даже «догматически», опираясь на то, как оно описано в Священном Писании. Как было показано выше, Бог именует творимые Им сущности в процессе их создания, однако, создав человека – Адама, «поручает» ему именование животных и своей жены и в известном смысле самоустраняется от содействия ему в этом, лишь глядя на то, как именно Адам назовёт и животных, и жену (ср. Müller 1892: 20). Такое самоустранение Творца ни в коей мере не умаляет Его соучастия в создании языка, но ограничивается созданием необходимого и достаточного условия для этого – «вдыхания Духа» в человека. Парадоксальным образом мифопоэтическая картина возникновения языка в акте сотворения мира и человека оказывается поэтому более «научной», нежели попытка Зюсмилхы спекулятивно «приписать» Богу некие действия по *обучению* человека языку. Конечно, объяснить происхождение языка легче всего, если отказаться от самой идеи объяснения, ведь аргументация Зюсмилхы является по сути формой такого отказа. Гердер попытался хотя бы отчасти дать, пусть наивное, объяснение, за что, собственно, и был поощрён теми, кто поставил вопрос о происхождении языка именно в данной плоскости.

В 1865 году было создано Парижское лингвистическое общество (Société de Linguistique de Paris), одной из задач которого было обоснование научного подхода к языку и установление круга вопросов, которые в принципе может решить языкознание. Эти вопросы члены общества вознамерились достаточно жёстко отделить от тех, которые лингвистика не способна разрешить в принципе, а потому не имеет права задавать. Во втором параграфе своего устава Société постановило, что оно не будет рассматривать работы, посвящённые происхождению языков<sup>12</sup>. Данное решение напоминает известный отказ Французской академии принимать проекты *perpetuum mobile* задолго до открытия закона сохранения энергии, просто потому, что множество предложенных к тому времени моделей вечного двигателя фактически не работали. Почему это было так, в то время объяснению не подлежало, но под давлением огромной массы негативного эмпирического материала было решено, что вечный двигатель невозможен по каким-то пока неведомым причинам, а «нужно исследовать то, что есть» (согласно словам президента Лондонского философского общества А. Эллиса, сказанным, правда, позднее, в 1873 году (ср. Stam 1976: 259)), не гоняясь за химерами. Подобной логикой руководствовались и Парижское лингвистическое общество, что для середины XIX века, когда приоритет методологии естественных наук и эмпирического подхода на фоне теории эволюции Дарвина, открытия клетки, магнитного поля и т. д. достиг своего апогея, было вполне ожидаемо. Правда, в отличие от проблемы вечного двигателя вопрос о происхождении языка так и не нашёл своего

<sup>12</sup> Ср. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 1 (1871), III.

окончательного решения, а в последнее время ставится в лингвистике снова, хотя и в иной плоскости. Чарльз Ф. Хоккетт (Hockett 1960: 88) называет решение Парижского лингвистического общества «приметой времени»<sup>13</sup>, что применительно к XIX веку действительно справедливо, хотя, как было показано выше, существуют и вневременные, онтологические причины для подобного скептицизма.

Если рассматривать происхождение языка с точки зрения взаимосвязи онтогенеза и филогенеза, можно предложить ряд более или менее обоснованных гипотез неспекулятивного свойства. Так, Жан Пиаже (Piaget 1923/1983) установил в результате проведённых им в 20-е годы прошлого века экспериментов, что, приобретая языковые навыки, ребёнок пользуется ими вначале для ориентации в окружающем мире, постепенно расширяя сферу своего взаимодействия с ним посредством накапливаемых языковых знаний. Первичной функцией языка в этом случае следует считать познавательную, когнитивную функцию, свойственную «эгоцентрическому» использованию языка. Эгоцентризм ребёнка состоит при этом в том, что он проецирует в мир содержание собственной субъективности (Piaget 1923/1983: 77), считая собственную перспективу единственно возможной (там же: 86). Ребёнка на данной стадии развития не интересует, слышат и понимают ли его окружающие (там же: 21). Лишь впоследствии нарастает роль функции общения, коммуникации, причём коммуникативное использование языка постепенно отодвигает на задний план его эгоцентрическое употребление. По данным Пиаже, на начальной стадии приобретения языковых навыков около  $\frac{3}{4}$  высказываний ребёнка носят эгоцентрический характер в описанном выше смысле. Примерно в шестилетнем возрасте количество эгоцентрических, направленных внутрь сознания ребёнка, и коммуникативных, ориентированных вовне, высказываний сравнивается, а к семи-восемью годам их соотношение зеркально переворачивается (там же: 23–24, 44, 48, 71). Исходя из соотносимости онтогенеза и филогенеза, можно было бы перенести данную модель на историю возникновения языка *homo sapiens*. Что дал бы такой перенос для гипотетического разрешения проблемы возникновения естественного языка? Сравнительно немного.

Во-первых, теория Пиаже, как известно, не является единственной, несмотря на весьма солидную экспериментальную базу. Известен его спор с русским психологом Л. С. Выготским, который, усложнив экспериментальную базу Пиаже, показал, что эгоцентрическая речь ребёнка, пусть опосредованно, социально обусловлена, а внутренний монолог взрослого человека по своей сути – не что иное, как результат восходящей эволюции эгоцентрической речи ребёнка (ср. Выготский 1956). Для Пиаже «досоциальные» этапы речи ребёнка являются подготовительным периодом и сами по себе «ценностью» не обладают, важно лишь их использование как некоей базы для последующей коммуникативной деятельности. Такой подход, возможно, в какой-то степени продуктивен для психологии, но с точки зрения проблемы происхождения языка скорее затемняет, чем проясняет общую картину. Дело в том, что эксперименты Пиаже показали первичность эгоцентрической познавательной функции языка, следовательно, перенося их результаты на филогенез, мы получаем тезис о первичности функции когнитивно обусловленной ориентации и, соответственно, вторичности коммуникативной функции. Помимо этого Пиаже рассматривает аутистическую речь ребёнка, предвещающую собственно эгоцентрическую стадию, как некое лишённое смысла повторение звуков и слогов, выполняющее функцию разминки речевого аппарата для его поэтапного использования в процессе производства сначала эгоцентрической, а впоследствии коммуникативной речи, которая и является, согласно Пиаже, основной задачей языка. Для лингвиста такое понимание языка малопродуктивно. Конечно, разминка предвещает, скажем, спринтерский забег, но едва ли можно считать разминку, а не сам забег, главной задачей спортсмена. Онтологически раз-

<sup>13</sup> «This action was a symptom of the times. Speculation about the origin of language had been common throughout the 19th century, but had reached no conclusive results» (Hockett 1960: 88).

минка вторична по отношению к соревнованию в беге, хотя и первична по отношению к нему по времени. Трудно представить себе, чтобы исторически сначала возникла разминка, а потом соревнование в беге. Очевидно, что разминка производна от бега, а не предваряет его, она нужна для достижения лучшего результата, однако возникла из опыта, когда соревнующиеся заметили, что достигают лучшего результата, предварительно разминаясь, а не стартуя, что называется, с места в карьер. Однако с языком всё обстоит ровно наоборот. «Разминка» на этапе овладения языком не может быть осознанным актом, предваряющим речь, равно как и в филогенезе невозможно представить себе «пустую» по своей функции или «предваряющую» коммуникацию эгоцентрическую речь. Ни Пиаже, ни Выготский, таким образом, не решили проблему соотношения познавательной и коммуникативной функции языка в онтологическом и генеалогическом плане. Справедливости ради нужно сказать, что они и не ставили перед собой такой задачи *в лингвистическом аспекте*. Психология же (в том числе психология речи) изначально ставит перед собой другие задачи и решает их в рамках своего теоретического и методологического инструментария. Пересечения с лингвистикой здесь несомненны, однако далеко не всегда однозначны.

Во-вторых, дискуссия о соотношении эгоцентричной и коммуникативной функции языка не решает вторую, чрезвычайно существенную для понимания происхождения языка проблему, а именно вопрос о непрерывности или дискретности человеческого языка. Возникает наш язык как некое продолжение «протоязыков», существующих в живой природе, как более высокая ступень их естественной эволюции или язык является резкой границей, отделяющей человека от прочих живых существ? Изучая языковой онтогенез ребёнка, получить ответ на этот вопрос невозможно по определению, так как здесь мы с самого начала имеем дело с человеком. Сравнение же естественного человеческого языка с «языками» животных, пусть высших, никоим образом не приближает нас к решению вопроса, поскольку язык людей имеет так много черт, кардинально отличающих его от «языка» животных, что эти последние могут в данной паре использоваться исключительно в переносном смысле и стоять в кавычках. Животные передают друг другу лишь определённые сигналы, тогда как язык людей содержит в себе невероятно сложный по своей структуре потенциал, позволяющий использовать его в самых разных, при этом взаимосвязанных, целях: познания, самопознания, общения, выражения эмоций, оценки событий и мыслей, логических построений, воспоминания, прогнозирования, эстетического воздействия, иронии, «несобственных» высказываний, фантазии и т. п. Один лишь факт *развития* языка, постоянных языковых *изменений*, преобразования его словарного состава, звукового контура и грамматической структуры с течением времени делает человеческий язык феноменом, совершенно несопоставимым с прочими «похожими на язык» системами коммуникации. Всё это, однако, не отменяет принципиальной возможности «вырастания» языка людей из более примитивных явлений, обладающих хотя бы некоторыми сходными с языком функциями. Поэтому теории происхождения языка, существующие на сегодняшний день в лингвистике, делятся в первую очередь, по самой основе поставленной проблемы, на «континуативные» и «дисконтинуативные». Поскольку данные термины по своему происхождению англоязычные и в русском языке в таком виде неудобоваримы, будем говорить в дальнейшем о непрерывности и прерывистости (дискретности) в развитии языковой способности человека.

Теории непрерывности исходят из постулата, что сложность всех известных нам древних и новых языков исключает гипотезу их внезапного возникновения *ex nihilo*. Гораздо логичнее представить себе существование неких доязыковых систем коммуникации, которые были присущи человекообразным приматам и являются источником языка людей, возникающего в результате их постепенной, поэтапной эволюции, постоянно усложняясь и адаптируясь к новым, более сложным условиям и потребностям коммуникации развивающихся представителей *homo sapiens*. Н. Хомский (Chomsky 1996: 30) резонно возражает, что в случае языка

мы имеем дело с феноменом, который невозможно объяснить, пользуясь стандартной эволюционной моделью, поскольку естественные человеческие языки никак не выводимы из реконструируемых доязыковых состояний, ибо отличаются от них не количественно, а по самой сути языковой способности человека, языкового модуля его мозга, который должен был возникнуть в результате некоего одномоментного эволюционного скачка (если мы вообще хотим при объяснении языка оставаться в рамках теории эволюции), происшедшего, по мнению Хомского, около ста тысяч лет назад. При этом, согласно Хомскому (*ibidem*), языковая способность возникает в мозге человека не просто скачкообразно, но и сразу же в совершенном или почти совершенном виде. Сам Хомский пытается доказать, что его теория не противоречит дарвиновской модели эволюции (ср. Chomsky 2004; 2005), поскольку эта последняя вовсе не исключает возможностей одномоментных качественных скачков в развитии видов. В частности, Хомский предлагает применять в отношении языка стохастически (вероятностно) обусловленный подход к эволюционной модели, который, по его утверждению, вполне совместим с принципом эволюционизма. Так ли это, сказать трудно, и во всяком случае данная постановка вопроса выходит за рамки настоящей книги. Сомнительность подобного совмещения, на наш взгляд, имеет весьма серьёзную онтологическую подоплёку. Дело в том, что вероятностное обоснование возникновения и развития живых организмов от амёбы до человека возможно только *post factum* их действительного существования. Без известной «подгонки под результат» подобные обоснования едва ли возможны, поскольку правдоподобие возникновения жизни, особенно с учётом разнообразия её форм, «чисто» статистически едва ли вообразимо. Мы входим здесь в область, где дискуссия всегда явно обременена, так сказать, «идеологически», поскольку теория Дарвина в научном сообществе и сегодня считается настолько непререкаемой, что даже такой авторитет, как Хомский, явно чтобы избежать упреков в антидарвинизме, вынужден говорить о приемлемости «стохастического» дарвинизма при объяснении, в общем, необъяснимого – возникновения языковой способности фактически «на пустом месте», из ничего. Поэтому откажемся от дальнейших спекуляций по поводу совместимости дискретной теории возникновения языка и эволюционной биологии, сославшись ещё раз на приведённые выше слова М. К. Мамардашвили и А. А. Пятигорского, что в отношении языка «генетически предшествующее начальное условие исчезло и не восстановимо» (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 26). Совмещая постулат Хомского о существовании языковой способности *a priori*, от рождения, с необходимым ограничением познавательной претензии в отношении возникновения языка, сформулированным Мамардашвили и Пятигорским на основании того, что здесь наше сознание вынуждено оперировать категориями собственного бытия, приходим к выводу, что вопрос о происхождении языка в его обычной постановке не имеет ответа.

Что же касается альтернативных теорий, постулирующих развитие языка под влиянием социальной эволюции от коммуникативных сигналов приматов до современных языковых систем, то здесь спор идёт о совершенно других вопросах. В частности, теория «невидимой руки» в языке, предложенная Руди Келлером (ср. Keller 1994/<sup>3</sup>2003; Келлер 1997), рассматривает язык как феномен «третьего рода» (наряду с природными явлениями и артефактами), возникающий в результате *незапланированной* деятельности больших групп людей. Язык как объект анализа здесь предельно инструментализирован. Он представляет собой средство общения, используемое членами коммуникативного сообщества, каждый из которых преследует собственные цели, однако их достижение возможно лишь через общение с другими. При целеполагании индивидуума язык занимает вполне определённую нишу: он необходим человеку для того, чтобы убедить других членов коллектива, говорящих на одном с ним языке, действовать в его интересах. Это позволяет ему оптимальным способом добиться поставленной задачи, которая, при всём разнообразии её конкретных проявлений, в целом сводится к достижению широко понимаемого социального успеха. Успех этот в обществе зависит прежде всего от двух вещей – приемлемости языкового поведения личности для общества и способности личности

посредством языка убедить членов коллектива в оригинальности собственного подхода к разрешению той или иной задачи. Отсюда два антиномичных принципа коммуникации – «говори, как другие» (чтобы тебя поняли и не отторгли) и «говори иначе, чем большинство» (чтобы твои слова бросались в глаза и воспринимались как оригинальное, свежее, новое мнение). При оптимальном сочетании этих противоположных принципов общения посредством языка говорящий на нём человек может обеспечить успешное продвижение по общественной лестнице. Более того, видя, что ему это удаётся, другие члены общества будут стараться подражать ему, в силу чего вырабатываются новые нормы общения, меняется язык, а одновременно возникает запрос на новых смельчаков, ради достижения социального успеха готовых снова ломать привычные нормы языкового общения. Таким образом, язык меняется незаметно для его носителей, как бы по мановению «невидимой руки», сравнимой, скажем, с известной в экономике невидимой рукой рынка и другими сходными явлениями. Никому и в голову не приходит сознательно менять язык, язык меняется людьми спонтанно, в силу того, что именно изменение формы выражения мысли наилучшим образом способствует успешному функционированию «языковых личностей» в обществе.

Как с помощью такого подхода к языку можно объяснить его происхождение? По мысли Келлера, первое, что нужно для этого сделать, – отказаться от любых попыток натурфилософского объяснения языка, от его органической модели. Если язык – лишь инструмент для достижения индивидуумом своих целей в обществе, то и его возникновение должно быть результатом инструментальной функции. Во-вторых, необходимо определить сами цели коммуникации. Какой, скажем, могла быть цель человекообразной обезьяны в стаде? Вероятнее всего, доступ к самым лакомым кускам полученной в ходе совместной охоты добычи. Здесь Келлер полемизирует с теорией, согласно которой язык возникает для наиболее эффективного ведения племенем охоты. Действительно, для этой цели язык вряд ли обязателен, а главное, он едва ли мог бы развиваться и совершенствоваться, выполняя он лишь данную задачу. Скорее всего некий архетип языка создала самая слабая и трусливая человекообразная обезьяна, которой доставались лишь жалкие крохи от трапезы более сильных и смелых сородичей. Дни и месяцы изнуряющего голода и унижения привели, наконец, к тому, что она заметила закономерность между криком членов стада, предупреждающим об опасности, и тем фактом, что, когда все разбегаются в середине трапезы, на земле остаётся изрядный кусок недоеденной добычи. И бедный, голодный Карлхайнц (этим немецким именем немецкий учёный Келлер называет своего героя) может спокойно пообедать. Таким образом, сигнал опасности получает переосмысление. Когда же вождь племени замечает обман, он начинает пользоваться этим сигналом, чтобы отгонять от пищи своих сородичей. Так возникает первый собственно языковой знак (ср. Келлер 1997: 54–70).

Келлер настаивает на том, что объяснение происхождения явлений «третьего рода», к которым он безраздельно и безо всяких оговорок относит человеческий язык, возможно именно таким образом – с помощью некоей «предполагаемой истории», похожей на сказку, но в отличие от сказки не содержащей никакого чуда и вообще ничего, что не могло бы произойти естественным путём. Современные люди, бесспорно, ставят перед собой цели несравненно более сложные, чем человеко-обезьяна Карлхайнц, однако основной механизм достижения этих целей в процессе коммуникации, согласно теории Келлера, остаётся по сути неизменным. Келлер намеренно подчёркивает отсутствие каких бы то ни было «положительных» или «отрицательных» мотивов в сочинённой им истории, он лишь утверждает, что эта история «правдоподобна» и не противоречит принятой им логике объяснения. То, что кому-то такая реконструкция праязыка может показаться слишком грубой и не соответствующей нашим представлениям о морали и вообще о том, что хорошо и что плохо, для Келлера не является аргументом. Более того, он неоднократно указывает на то, что целый ряд вещей, играющих в социуме весьма продуктивную роль, которые принято оценивать положительно, возникли

вовсе не благодаря неким добрым намерениям его членов, а либо случайно, либо как результат качеств или действий его членов, которые сегодня принято считать негативными.

Но нас интересует здесь вовсе не проблема обоснованности нравственного или иного релятивизма при объяснении возникновения языка, тем более, что и так называемые положительные реконструкции мало чем разнятся от модели Келлера по своим главным параметрам. Выше уже упоминалась гипотеза, что язык возникает как вспомогательное средство оптимальной организации охоты членами стада человекообразных приматов. Иб Ульбæk (ср. Ulbæk 1998: 40–41) утверждает, что язык возник как средство коммуникации, которую он определяет как обмен информацией в условиях повышенного взаимного альтруизма членов первобытных коммуникационных сообществ. Иными словами, язык возникает лишь там и тогда, где и когда действует сформулированный ещё Дарвиным принцип обязательного для выживания данной популяции взаимного альтруизма. Лингвистическая составляющая данного принципа сводится к максиме коммуникации, определяемой как взаимное обязательство обмениваться правдивой информацией. Итак, мы видим, что Келлер выводит язык из прямо противоположной Ульбæку гипотезы, но при этом оба говорят о коммуникативной функции языка как главной движущей силе языковой эволюции и самого возникновения языка.

Здесь едва ли возможно хотя бы вкратце описать все существующие гипотезы происхождения языка, и это не является целью настоящей книги. Сопоставляя приведённые выше модели, мы преследовали цель показать, что при инструментализации языка его генеалогия неизбежно сводится к минимальному набору факторов, способствующих, по мнению сторонников данной концепции, возникновению естественных языков. Их задача поэтому несравнимо проще попытки объяснить язык, так сказать, «из самого себя», оперируя категориями человеческого сознания. Возвращаясь к концепции языка Хомского, обратим внимание читателя на одно весьма показательное для рассматриваемой здесь дискуссии обстоятельство. Несмотря на то что сам Хомский, как уже упоминалось, пытается совместить свою теорию с эволюционной биологией, сторонники классической эволюционной теории, предполагающей, в частности, непрерывность в эволюции средств коммуникации от «языка» приматов до языка человека, уверенно относят его к числу антиэволюционистов, упрекая в том, что он является одним из немногих исследователей, кто поставил под сомнение дарвиновское объяснение возникновения языка (ср. Ulbæk 1998: 30)<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> «Chomsky has been one of the few to question a Darwinian explanation of language: ‘Darwinian theory is so loose it can incorporate everything’, he claimed recently» (Ulbæk 1998: 30).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.